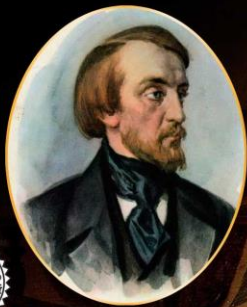


Виссарион Белинский



Русская
литература
в 1842 году

«Русская литература в 1842 году» — произведение известнейшего литературного критика Виссариона Белинского. Белинский известен новаторскими взглядами на цель и функции художественного слова. Виссарион Белинский вошел в историю мирового литературоведения как талантливый ученый, который обосновал теорию реализма, выступая за максимальную приближенность литературы к действительности.

Виссарион Григорьевич Белинский

Русская литература в 1842 году

Было время, когда журналы в Европе по преимуществу назывались «зрителями»; теперь имя «обозрений» (revues) осталось за ними исключительно и значит то же самое, что у нас, на Руси, слово «журнал», а журналами называются там газеты. В этих названиях столько же основательности и толку, сколько у нас неосновательности и бестолковости. Большая часть журналов у нас выходит один раз в месяц, тогда как иностранное слово «журнал» совершенно равнозначительно русскому «дневник» или «ежедневник». Слово «газета», оставшееся у нас преимущественно за теми периодическими изданиями, которые за границею называются «журналами», не выражает никакого смысла, почему почти и оставлено в Европе. Еще более основательности и глубокого смысла видно в заменении слова «зритель» словом «обозрение»; эта перемена как нельзя лучше характеризует собою две эпохи — одну, когда люди только *созерцали* и *смотрели* на жизнь, как на занимательный спектакль, и другую, когда люди уже не довольствуются только тем, что смотрят глазами, а

хотят вместе с тем смотреть и умом. Предшествовавшая эпоха была *созерцательная*; настоящая эпоха — *сознательная*. Отсюда-то и происходит эта живая, беспокойная, тревожная потребность, едва кончив дело, *обозреть* его поскорее, едва пройдя несколько шагов, оглянуться назад и отдать себе отчет в пройденном пространстве. Это доказывает, что теперь факты — ничто, и одно знание фактов также ничто, но что все дело в разумении значения фактов. Мы этим отнюдь не хотим сказать, чтоб фактическое знание было ненужно, бесполезно: мы хотим сказать только, что знание фактов без разумения их еще не есть знание в истинном и высшем значении этого слова. Без знания фактов невозможно и разумение их, потому что, когда нет фактов, как данных, как предметов знания, тогда нечего и уразумевать; следовательно, и фактическое знание необходимо; только без философского знания оно будет таким же призраком, как и философское знание без фактического приготовления и основания. И действительно, в прежнюю, созерцательную эпоху только смотрели на то, что делалось на белом свете, и, посмотрев, записывали, что видели; теперь смотрят еще пристальнее, еще внимательнее, но, смотря, вникают и судят, и тогда только почитают себя что-нибудь увидевшими, когда откроют смысл и значение увиденного, переведут факт на идею.

У нас общественная жизнь преимущественно выражается в литературе. Поэтому ничего нет мудреного, если все наши журналы по преимуществу — журналы литературные, наполняемые или произведениями литературы, или толками о литературе. Наука у нас еще слишком нежное и слабое растение, которому еще некогда было даже пустить корней, не только развернуться пышным и благоуханным цветом. Это, впрочем, не значит, чтоб у нас не было науки: это значит только, что наука на Руси до сих пор еще что-то вроде элевзинских таинств, — исключительное достояние небольшого избранного класса людей, а не целого общества, как в Западной Европе. Многие еще из посвящающих себя исключительно науке у нас учатся не для знания, а для аттестатов, открывающих путь к разным преимуществам по службе. Заседания ученых обществ в глазах нашей публики — род спектакля, на который должно смотреть с приличною важностию, не зевая. Сам Араго¹ не привлек бы своими чтениями и отчетами разнообразной и полной просвещенного интереса

¹ Доминик Франсуа Араго (1786–1853) — известный французский ученый-физик и астроном. Не следует смешивать с Жаком Араго — драматическим писателем, автором «Воспоминаний слепого».

толпы. Вот почему мы говорим, что наука на Руси пока еще — нежное и слабое растение, не успевшее еще пустить корней в новую, не разработанную для него почву и поддерживаемое только благородными, великодушными усилиями просвещенного правительства. Зато литературные публичные чтения, затеянные сколько-нибудь известным в литературе лицом, у нас могут привлекать разнородную толпу, которая готова стекаться на них всегда с большим или меньшим интересом, и не только (так или сяк) будет понимать их, но еще и принимать их с этим восторгом или с этим неудовольствием, которые всегда означают живое участие к делу литературы. Уж нечего и говорить о том, что все сколько-нибудь замечательные литературные произведения находят себе у нас покупателей и почитателей; некоторые журналы поддерживаются значительным числом подписчиков, журнальные мнения разделяют публику на литературные котерии. Последнее обстоятельство особенно важно. Без литературного мнения, сколько-нибудь оригинального и самобытного, высказываемого с большим или меньшим умом и талантом, теперь и у нас журнал уже не может иметь успеха. Критика в отношении к успеху и влиянию журнала начинает становиться едва ли не важнее самих повестей. Правда, под «критикою» у нас еще не все разумеют

рассмотрение произведений искусства на основании науки изящного; напротив, большая часть публики добродушно почитает критикою всякую болтовню о литературных предметах, всякую рецензию на пустую книжонку, — и потому у нас стоит только назвать себя критиком, чтобы прослыть критиком. Так, иной нравоописательный сочинитель, в жизнь свою не написавший ни одной критической статьи, никогда и не слыхивавший, что есть на свете наука изящного, философия искусства, совершенно чуждый какого-нибудь взгляда на поэзию, какого-нибудь убеждения, тем не менее гордо величает себя «критиком» потому только, что давно уже марают статейки в плохой газете, где бранит сплеча всякий талант, всякий успех, заслоняющий его, или, помирившись с подобным себе витязем, потом бранит его, а после опять мирится с ним — до новой мировой сделки и новой размолвки и постоянно хвалит только себя и свои книжные изделия.² Но все это нисколько не противоречит высказанному нами мнению о

² Здесь имеются в виду Булгарин и Н. Полевой. Белинский писал уже однажды о частых ссорах двух литераторов, «соединенных издавна приятелью» (см. «Литературные журнальные заметки», — «Отечественные записки», 1842, т. XXIV, № 10).

важной роли, которую играет критика в наших журналах, как выражение литературных понятий, убеждений и мнений; притом же наша критика состоит не из одних таких жалких явлений, но по справедливости может гордиться и утешительными исключениями. Итак, этот успех журналистики, душа которой — критика, служит самым ясным и неопровержимым доказательством, что литература, наконец, укоренилась на почве русской национальности, вошла в жизнь общества, сделалась его обычаем и живою потребностью и уже перестала быть внешним нововведением, модою или книжным педантизмом. Поэтому ничего нет удивительного, что у нашего общества литература стоит на первом плане и что у нас с важностью рассуждают и с горячностью спорят о том, о чем за границею говорят хладнокровно, как об интересе важном, но уже второстепенном и отнюдь не исключительном.

После всего этого должно казаться странным, что в современных русских журналах, за исключением «Отечественных записок», нет ни исторических, ни годовых и никаких обзрений русской литературы. И это тем страннее, что с небольшим за десять лет назад обзрения такого рода были в большом ходу: ими наполнялись журналы, без них не могли обходиться альманахи. Потом вдруг как и не бывало литературных

обозрений! Кроме равнодушия к делу литературы, этому не может быть другой причины: по словам мудрой русской пословицы — что у кого болит, тот о том и говорит. Скажут: вольно же ребячиться и толковать о пустяках! Хорошо; но если литература для кого-нибудь пустяки, так пусть же тот и не издает литературных журналов, чтоб не противоречить самому себе и не обнаружить, против своей воли, каких-нибудь совсем не литературных целей, а, например, торговых и т. п. Кто на литературу смотрит, как на что-то важное в глазах того обозрения литературы не могут не иметь большой важности. Литературные обозрения — это живая летопись мнений различных эпох; а как Россия во многих отношениях развивается непомерно быстро, то у нас что год, то и эпоха, следовательно, и летописи нашей литературы не могут не быть разнообразны, живы и интересны. Любопытно наблюдать за процессом мнения об одном и том же предмете в разное время, у разных поколений; любопытно видеть, как думали, например, о Ломоносове или Державине в их время и как думают о них теперь. Любопытно видеть итоги каждого года и по ним следить за каждым успехом литературы, за каждым ее шагом вперед. И потому мы думаем, что публика не может не одобрить принятого нами намерения — начинать каждую первую книжку нового года

«Отечественных записок» взглядом на прошлогоднюю литературу, — намерение, которое уже сряду третий год постоянно выполняется нами, не в пример прочим журналам.

Литературные обзоры первый начал Марлинский. Его статьи в этом роде имели чрезвычайный успех в публике. На них смотрели, как на что-то необыкновенное, гениальное. Теперь они не более, как интересный факт для истории русской литературы. Теперь уже никого не изумят фразы, что Ломоносов озарил своим явлением Русь подобно северному сиянию, что стихи Пушкина — жемчуг, рассыпанный по бархату, и т. п. Но в свое время *обозрения* Марлинского были действительно необыкновенным явлением, которое не могло не показаться великим. Критика, до Марлинского, была книжною и педантическою, без истинной учености, без всякого отношения к современному состоянию науки об изящном. Истинному глубокомыслию и истинной учености прощается и тяжеловатость, и педантизм, если они как-нибудь приросли к ней; но педантизм и школьничество, не выкупаемые мыслию и основательностию, — самая отвратительная вещь в мире. Наша ученая критика того времени не справлялась с ходом времени и повторяла избитые общие места о старых писателях, упорно не признавая в Пушкине ни таланта, ни заслуги.

Марлинский заговорил о литературе языком светского человека, умного, образованного и талантливом, заговорил языком новым, небывалым, острым, блестящим. Ради этих, новых тогда, достоинств никто не заметил жидкости содержания в его часто до изысканности оригинальных и блестящих фразах, неопределенности в его характеристиках. Удержав, по старой памяти, кое-что из мнений прежнего времени, Марлинский все это выражал, однакож, новым образом, отчего и старые мысли приняли у него вид новых; увлекаясь очень понятным пристрастием к современному, он иное хвалил не по достоинству, но зато умел восхищаться всем истинно прекрасным и тяжело поражал своим фейерверчным остроумием посредственность и бездарность. Одно уже то, что он был страшным врагом ложного классицизма и сильным союзником плохо понимаемого и нового, тогда так называемого романтизма, — одно уже это облекало в мистическое величие его достоинство как критика. После Марлинского неутомимым «обозревателем» был весьма известный в свое время, но теперь совершенно забытый г. Орест Сомов. В его статьях не было никакого литературного мнения, никакого основания, никакого блеска, и они скоро всем надоели и обратились в предмет насмешек со стороны всех

журналов. Потом замечательнейшею статьею в этом роде было «Обозрение русской словесности 1829 года» г. И. Киреевского, напечатанное в «Деннице» г. Максимовича. В статье г. Киреевского чувствуется присутствие мысли; по крайней мере есть несколько отдельных мыслей, верных и оригинальных; но приложение их отзывается неопределенностию и не идет к делу. Г. Киреевский не только безусловно и безотчетно превознес, а не оценил, — ибо оценка есть суждение, а не гимн хвалебный, — историю Карамзина, но и разные маленькие знаменитости того времени. Так, например, он накинул *душегрейку новейшего уныния* на греческую музу Дельвига, между тем как в подражаниях Дельвига древним еще менее античного, пластического и антологического, чем русского в его русских песнях. Даже в стихотворениях г. Шевырева г. Киреевский нашел только один недостаток — не отсутствие поэзии, которой в них совершенно нет, не дикую вычурность абстрактных идей и напряженного выражения, а *излишество мысли!*.. Это обозрение возбудило против себя сильную враждебность в журналах сколько по своим парадоксам, столько и по некоторым истинам, горьким и резко высказанным, которые не всем могли понравиться.

Вообще главный отличительный характер всех прежних литературных обозрений состоит в

том, что они обольщались мнимыми литературными сокровищами. Отрывок из неоконченной поэмы считался важным приобретением для литературы; плаксивая элегия, напечатанная в альманахе, возбуждала толки и споры; всякая повестца считалась дивом. Теперь смешно и вспомнить, как все были заинтересованы коротенькими отрывочками из повести Байского «Гайдамаки»,³ повести, действительно недурной по рассказу, но тянувшейся несколько лет и оставшейся без конца и связи. Даже роман г. Б. Ф(Θ)едорова «Андрей Курбский» возбуждал ожидание и толки. Числительное богатство принималось за качественное, и этому богатству конца не видели. Книг было немногим больше теперешнего, но зато почти каждая книга считалась важным явлением в литературе; крохотные отрывочки в крохотных альманахах, каждое стихотвореньице, даже эпиграмма, — все это поименовывалось в «обзрениях» и причислялось к общей сумме литературного богатства. Иначе и быть не могло. Всякая важная новость, сменяющая собою надоевшую старину, принимается заодно с достоинством и совершенством. Так называемый

³ Порфирий Байский — псевдоним писателя Ореста Сомова (1793–1833).

романтизм был тогда еще новостью, и потому почти всякое «романтическое» произведение почиталось «превосходным» произведением. Восхищение отнимало способ думать и судить.

В чем же должен состоять характер литературных обзрений нашего времени? И даже есть ли теперь что-нибудь, что обозревать? Ведь теперь и книг меньше, и журналов меньше, стало быть, и литература вообще беднее?

Так может казаться, но не так это на деле. Мы сейчас сказали, что богатство прежнего периода нашей литературы было больше числительное, нежели качественное, больше воображаемое, нежели существенное. Истинное ее богатство состояло в произведениях Пушкина да в «Горе от ума» Грибоедова; кое-что из остального имело свое относительное достоинство, а большая часть — ровно никакого, между тем как все это принималось тогда почти с таким же энтузиазмом, как и новые произведения Пушкина. Кто не считался тогда поэтом, кто не был знаменит? — Теперь едва ли поверят, если сказать, что с небольшим лет за десять имена гг. Олина, Карльгофа, Сомова, Писарева, Аладьина, Раича, Погорельского, Яковлева (автора «Удивительного человека»), Илличевского, Ротчева, Глаголева и многих, многих других считались чуть не знаменитостями литературными... Что касается до

журналов, — их было больше, потому что их легче было издавать. Страсть печататься доставляла издателям или за самую умеренную цену, или — и это большею частию — совершенно безденежно переводные и оригинальные статьи, которыми они и наполняли тощенькие и маленькие книжки своих журналов. «Телеграф» столько же по величине своих книжек и по внешнему изяществу издания, сколько и по внутреннему достоинству справедливо считался первым и лучшим журналом в России; а между тем каждый том «Телеграфа», заключающий в себе четыре книжки за *два* месяца, едва ли не вполовину меньше был каждой книжки «Отечественных записок», выходящей *один* раз в месяц. Если разница во внешнем изяществе издания «Телеграфа» не слишком велика с нынешними журналами, то взгляните на картинки мод «Телеграфа» и сравните их с нынешними. Конечно, все это не составляет сущности журнала, но мы и говорим не о сущности, а о трудности, с которою, по причине усилившихся требований со стороны публики, теперь сопряжено издание журнала сравнительно с прежними временами. Что же касается до сущности, то и тут какая огромная разница! Тогда «Телеграф» щеголял повестями Марлинского, которые считались созданиями величайшего гения и приводили в восторг и изумление почти всю читающую публику. Повести

г. Полевого почитались тоже такими произведениями, которые могли бы служить украшением любому европейскому журналу, и, верно, многие, подобно нам, не могут теперь вспомнить без улыбки живейшего удовольствия, какой сильный интерес возбудили в публике «Живописец», «Блаженство безумия» и «Эмма»: воспоминания детства так отрадны и сладостны, что мы не без сердечного трепета вспоминаем иногда романы Радклиф, Дюкре-дю-Мениля и Августа Лафонтена и, смеясь над ними, все-таки любим их, как добрых друзей нашего мечтательного детства, как ослепшую от старости собачку, с которой мы играли, когда она была еще щенком!.. И что говорить о повестях г. Полевого; повести г. Погодина многим нравились в свое время; трудно поверить, а это было точно так: «Черная немочь» наделала шуму... И вот оно — то богатство, каким горда была наша литература предшествовавшего периода, который можно, не рискуя ошибиться, назвать «романтическим»!

Добрый и невинный *романтизм!* как боялись тебя классические парики, каким буйным и неистовым почитали они тебя, сколько зла пророчили они от тебя, — тебя, бывшего в их глазах страшнее чумы, опаснее огня! А ты, добрый и невинный романтизм, ты был просто резвое, шаловливое дитя, проказливый школьник, который